

— АН ДРЕЙ —
МАКАРΣВИЧ —
РАССКАЗЫ

ОСТ
РАКО
НЫ



18+



Андрей Вадимович Макаревич
Остраконы
Серия «Авторская
проза А. Макаревича»

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43452805
Андрей Макаревич. Остраконы: АСТ; Москва; 2019
ISBN 978-5-271-48424-7

Аннотация

«Остраконы» – новая книга Андрея Макаревича, легендарного музыканта, художника и поэта. Макаревич интересен поклонникам его творчества в любом амплуа, не зря говорят, что он автор для целого поколения...

В сборник вошли рассказы, написанные в разное время, каждый из них – частные мысли и чувства человека, ни в коем случае не навязывающего свое собственное мнение. Точные наблюдения, яркие детали, тонкий юмор, размышления, ощущения – атмосфера рассказов Андрея...

Книга проиллюстрирована рисунками автора.

Содержание

Рассказы	5
Я так и не провёл это лето	5
МОЯ революция	9
Валюта	14
Зов	19
Про шанс	23
Шаг	27
Часы	30
Чемодан	35
Корабли	40
Дорога	45
Памятник	51
Дар	55
Компромисс	58
Про пенсию	62
Снег	65
Соблазн	68
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Андрей Макаревич

Остраконы

© А. Макаревич, текст, иллюстрации, 2019

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2019

В оформлении обложки использованы рисунки автора.

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

*Спасибо журналу «Русский пионер» за
стимуляцию творческой активности.
Андрей Макаревич*

Рассказы

Я так и не провёл это лето

Я так и не провёл это лето. Это оно провело меня – как и всех вас. Первые два месяца оно убеждало нас, что вообще никакого лета не будет, морозило, било градом, пугало ураганами, потом, когда мы окончательно смирились, вдруг решило начаться, но как-то истерически, вне всякой уверенности в завтрашнем дне... Казалось бы – взял чемодан и через три часа ты уже там, где лето как у всех нормальных людей, – нет. Настоящее лето, это когда дома, на даче, на терраске. Я, извиняюсь, за городом живу. Слово «дача» не имеет аналогов в английском, так и будет – dacha. Это же не просто так.

И всё равно. Заведённого миропорядка никто не отменял. Сначала с участка исчезает снег. Это всегда происходит резко и заметно – вчера был, сегодня нет. От чёрной мокрой земли поднимается пар и сумасшедший запах, запах жизни, собаки носятся грязные и счастливые. Через несколько дней земля подсохнет, появится первая травка. Ещё два-три дня – и деревья покроются нежнейшими полупрозрачными зелёными облаками: уже не почки, ещё не листья. Это безумно красиво и очень ненадолго, поверьте. И вот тут самое время готовиться к главному весенне-летнему празднику – Дню

полёта майских жуков. Не слышали о таком?

Первым делом потребуется тихий ясный вечер. Здесь и сейчас. И он придёт, не сомневайтесь. Он даже в этом году случился – один. А больше и не надо. Соответственно вечеру подбирается компания друзей. Друзья должны быть самыми лучшими, поэтому компания будет не очень большой и шумной. Исходя из размеров и предпочтений компании определяется стол. Стол должен быть не слишком изысканным и обильным – вы в конце концов не пожрать собрались. Хотя праздник есть праздник, и принижать его тоже не следует. В общем, у меня в этот раз было так: последние солёные рыжички (крепенькие, ровненькие, шляпки проходят в горло бутылки), слабосолёная тихоокеанская сельдь с красным сладким луком под деревенским подсолнечным маслом с безумным запахом семечек, а к ней в маленьком чугушке совсем молодая картошка в тоненькой ещё, почти прозрачной шкурке, умащённая сливочным маслом, укропом и толчёным чесноком, большое блюдо с зеленью – только-только появившаяся черемша (даже не думайте обойтись без черемши!), кинза, цицмата, зелёный лук, редис, спелые южные помидоры, тут же деревенский сыр из Грузии или Осетии. В довершение – баранья корейка, печётся в тандыре минут пятнадцать, не более того, не пересушите. Напитки к такому демократичному столу могут быть разные, но «Шато Латур» я бы не рекомендовал – давайте не будем выпендриваться.

Да, вот ещё что важно – стол, за которым вы будете сидеть,

непрерывно должен располагаться под открытым небом – на террасе или в саду, и чтобы полоса этого открытого неба над вами была значительной. Хорошо, если где-то неподалёку растут берёзы.

Садитесь за стол предлагаю не раньше восьми – в конце мая темнеет уже поздно, и если пересидеть, то есть опасность, что к моменту наступления главного события гости потеряют чуткость и внимание их рассеется.

Хорошо, если застольная беседа будет доброй, лёгкой и позитивной – разговоры на темы «дожили, блин» и «нет, с этим надо что-то делать!» на данном празднике неуместны. Постарайтесь настроиться на созерцание. И не заводите разговор о майских жуках раньше времени.

К девяти солнце скроется за деревьями, ветер окончательно стихнет, ваш сад станет похожим на декорацию из старого мхатовского спектакля. Если ни один листок на деревьях не шевелится и небо темнеет с каждой минутой, уходя из розового в лиловое, можно сообщить гостям о главной цели вашей встречи. Гости к этому моменту уже выпили, закусили, кто-то закурил, кто-то увлёкся беседой, и, скорее всего, они вам не очень поверят – какие майские жуки? Майские жуки – это в детстве, в добрые советские времена! Не старайтесь их переубедить. Ждите. Майский жук, как и вальдшнеп, совершает полёт в поздних сумерках – почти в темноте.

И вот – слышите? Первый! Он летит прямо над столом. Он летит и гудит, как маленькие большие трансформаторы. Он

только что вылупился и летит пока неуверенно – его можно сбить ладонью, только зачем? А вот навстречу ему ещё один, и на несколько минут в гаснущем небе их становится много, очень много, и гости ваши замолчали, устыдившись своего неверия и потрясённые величиим картины, и только как дети тыкают пальчиками – вон ещё! И вон! И вон!

И вот тут надо поздравить друг друга с наступлением ещё одного лета, и налить каждому, и выпить.

За любовь, например.

МОЯ революция

С юных лет я не любил всё революционное. На эстетическом уровне. Исключение составляли, пожалуй, будёновки – красиво нарисованы, я ещё не знал, что Васнецов придумал их вовсе не для красных кавалеристов. Не нравились советские плакаты к празднику Октября – циклопические матросы, рабочие и крестьяне с мускулистыми шеями толще голов и яростно-возвышенными лицами. При всей любви к русскому авангарду не нравились революционные плакаты Маяковского: грубый и условный красный пролетарий красным молотом вбивает в землю шарообразного чёрного буржуа – первобытной ненавистью веяло от этих подмалёвков. Не нравилось.

Моя бабушка Лидия Антоновна, учитель биологии и покровительница юннатов, привила мне любовь ко всему живому – от муравьёв и мошек. Я мог часами лежать в траве и не дыша наблюдать за каким-нибудь жуком или лягушонком. Так вот – природа не знает революций. В природе рождаются, живут, продолжают род, умирают. Да, едят друг друга. Но строго следуя мудрым законам мироздания – никто никого не убивает ради убийства. Будь быстрым, ловким, и тебя не съедят. Совершенствуйся. И антилопам не приходит в голову свергнуть львов. Да, в стае могут состязаться и даже биться – не насмерть, за место вожака. Это называется

естественный отбор. Но в целом жизнь природы подчинена единой великой гармонии.

Мы, люди, быстро исправили этот непорядок.

Революции возникли практически одновременно с человеческой общиной. Потому что оказалось, что тех, кто наверху, меньше, а пирожных у них больше. Да они у них все! И они сами решают, кому раздавать объедки! И вот возникает некто пассионарный. Да какого хрена, думает он, почему они, почему не я? Он встаёт на камень (бочку, броневик) и возглашает: идите, люди, за мной. Я знаю как надо. Через четыре года здесь будет город-сад! Со всей своей пассионарностью. И население, собравшееся вокруг, раззявив рты, превращается в революционные массы. Не все, конечно, – а всех-то и не надо! Знаете, сколько было в России большевиков на момент революции? Одиннадцать сотых процента! Ничего, хватило. И их, и дураков вокруг. Здесь очень важны сочувствующие – пусть втайне, пусть в душе. Почему весь мир обожает фильмы про благородных бандитов и равнодушен к фильмам про героев труда? Потому что человек, поднявшийся против системы, – это так романтично! Тем более что система эта заскорузла и каждого однажды да обидела. Девушки шепчутся с восхищением – он такой крутой. А ты, который был героем только во сне, завидуешь глубоко внутри. И желание хоть как-то, безопасно, приблизиться заставляет помогать. Кто денег дал втихаря, кто в своём подвале спрятал от полицейской облавы... Ты спрятал гиену, идиот!

Они же тебя через пару лет повесят! Куда там...

И вот, представьте, получилось. Десять человек, рвавшихся к власти, скинули сотню в эту власть вцепившихся. А нечего было ослаблять хватку. Скинули, поубивали, посажали, провозгласили. Какова задача номер два? Правильно – эту самую власть удержать. Чтобы не было, как с только что убитыми и посаженными. Тем более что с обещанным городом-садом как-то не получается. На скаку рубить – пожалуйста, эспроприировать – ради бога, лапшу на уши вешать – умеем, а вот с городом-садом – не очень. Не идёт созидание. Поэтому народ следует приструнить и напугать. Всё, насканкались. К тому же народ этот из революционных масс сам на глазах превращается обратно в население, и, поняв, что с садом, да и с городом его бессовестно наебали, начинает тревожно озираться вокруг. Поэтому любая революция тут же оборачивается диктатурой. Полетели головы, посыпались погоны. А где-то на самом краю этой несчастной территории уже родился новый пассионарий. И растёт на глазах, сволочь.

И вот почему я должен всё это любить?

Мне четырнадцать лет, я в девятом классе, и обо всех этих глупостях ещё не думаю. Я сижу на задней парте, тихонько барабаню по ранцу, расписанному битлами в разных позах, электрогитарами и названиями битловских песен. Я изрисовал его так, что натуральный рыжий цвет его почти не читается. Я барабаню и думаю о первом аккорде с пластинки Hard Day's Night – как же он берётся? Мы делаем группу!

Элемент битловской волosatости в иерархии духовного следования кумирам – архиважная вещь. Лучше всего обстоят дела у нашего барабанщика Юрки Борзова – у него роскошная русая чёлка по самые глаза: чисто Брайан Джонс. У басиста Мазая не так похоже, зато усы – как на «Сержанте»! Я сплю ночами в розовой резиновой шапочке для плавания, предварительно густо натерев голову мылом – кудрявость битловской эстетикой не предусмотрена, а как выглядит Хендрикс, я ещё не знаю. До вечера чёлка не расклеивается, держится кое-как.

Учителя не разделяют наши взгляды на красоту и требуют привести себя в порядок – строже и строже. Наконец наступает взрыв – прямо посреди урока в класс врывается директриса по прозвищу Тыква, поднимает нас троих и выпроваживает из школы с условием, что возвращаемся мы только в приличном виде – как все. Как все, блин.

Мы бредём вверх по Пятницкой – вокруг гремит апрель, горланят птицы, синее небо, а в наших душах ночь. Мы мрачно курум и вполголоса обсуждаем дальнейшие действия – ну её, эту школу, или всё-таки что-то придумаем, не позволим себя унижить? И мы находим решение.

Парикмахерская через два дома. В это время там никого нет. Мы садимся в кресла одновременно. Мы кладём головы на гильотину. Мы стрижемся наголо. Под ноль.

Душевные муки оказываются сильнее, чем я предполагал. Отрежьте павлину хвост, слону – хобот, бабочке – крылья,

жирафу – шею и в процессе смотрите им в глаза. Гора волос на полу – уже не мои, я поднимаю веки и гляжу в зеркало – кто это? Мы выходим на улицу, ветерок очень непривычно холодит затылок. Это через двадцать пять лет приблужённые сопляки начнут косить под откинувшихся и в моду войдёт короткий ёжик, но у нас даже не ёжик – и новобранцев-то так не рихтуют. Мы похожи на марсиан. Неожиданно делается смешно и легко.

В школе мы проскальзываем в сортир на второй этаж – идут уроки, и нас никто не видит. Мы закуриваем. В сортир заглядывает физрук Игорь Павлович по прозвищу Фитиль, смотрит на нас, удивлённо говорит: «Здравствуйте», и выходит, не пописав. Мы понимаем, что он нас не узнал.

В кабинет к Тыкве мы идём уже уверенно и, по-моему, заходим без стука – я сейчас это так вижу. Тыква сидит за столом и что-то пишет. Она поднимает голову, выражение сползает у неё с лица, а новое так и не приходит на смену. «Ну... лучше», – выдавливает она из себя. И мы идём на урок. Топоча.

А в классе нам устраивают овацию.

Имеет ли эта история хоть какое-то отношение к революции?

Мы ведь бились только за себя. Мы не хотели переделать мир.

Хотя – хотели, конечно.

Мечты, мечты...

Валюта

Очень, очень мне не нравилось в юные годы слово «валюта». Не наше слово, зловещее. Что-то в нем запрятано лютое, нечто, что валит. Валюта – то, что нельзя. Валютчиков сажали, а то и расстреливали. Нет, я понимал, что доллар в Стране Советов официально стоит восемьдесят с чем-то копеек, а на самом-то деле – один к шести, но все эти коммерческие несоответствия располагались бесконечно далеко от круга моих интересов. Ибо кроме электрогитар и битловских аккордов меня тогда не интересовало вообще ничего.

Первый тактильный контакт с валютой случился, правда, чуть раньше, в седьмом классе. Мы снимали издевательско-шпионский фильм «Враг не пройдет» на папину узкоплёночную камеру АКВ – 8. Я был автором сценария, режиссёром и оператором, но по ходу дела пришлось сыграть эпизодическую роль изменника Родины. По сюжету главный шпион подкупал меня именно валютой за столом в ресторане. Ресторан снимался в пельменной напротив нашего дома, папа только что вернулся из командировки, я спросил, нет ли у него иностранных денег для съёмок эпизода. Папа выдал мне 60 долларов – 20, 20 и 20 – и убедительно просил особенно ими не размахивать. Съёмка прошла успешно – я сидел за столом с врагом, он что-то тихо говорил мне (кино было немое), на лице моём отражалось тягостное сомне-

ние, на столе появлялись 20 долларов, потом их становилось 40, потом 60 – и я ломался – продавал Родину. Съёмка проходила в один дубль (очень берегли плёнку), и повязать нас не успели. Поскольку мне было необходимо возвращаться на место оператора, изменника Родины пришлось в следующем эпизоде убить. Поделом.

Папе в командировке (как и всем советским иностранно-командировочным) выплачивались суточные в валюте страны пребывания. Были они смехотворными, но и их наши граждане на еду не тратили – вы что, с ума сошли? Надо же было привезти подарки с другой планеты: мне струны (если на гитару не хватит – а откуда там на гитару?), маме – кофту, сестре – сапожки. В чемодан плотно укладывались сухие супы в пакетиках, консервы, чай, кипятильник. За месяц командировки суточных набегало на подарки – ещё оставалось на пару винилов Эллингтона или Эрролла Гарнера. Следующий полёт на Марс ожидался через два года.

Зарплата же такому командировочному выплачивалась уже по возвращении – в сертификатах (удивительное изобретение советской власти). По сути, это были талоны на приобретение иностранных товаров в сети специализированных магазинов «Березка», но в силу покупательной способности талоны эти считались почти валютой. Делились они на три сорта – а с ними на три сорта делились их обладатели. Сертификаты с синей полосой – для трудившихся в странах соцлагеря. Ничего такого особенного на синеполосые купить бы-

ло нельзя – венгерская обувь, польский костюм, но по сравнению с советским универмагом это всё равно было о-го-го. Дальше по рангу шли сертификаты с жёлтой полосой – я так и не понял, кому и за что они доставались, но ценность их была несколько выше, а ассортимент предлагаемых товаров – разнообразнее. И на вершине пирамиды – бесполосые сертификаты, открывавшие двери в любой отдел «Березки», – двухкассетные магнитофоны, джинсы, сигареты «Марльборо» и «Кент», виски и джин... Америка! Господи, кто-нибудь понимал тогда, как все это унижительно? А сейчас, вспоминая Страну Советов, понимает?

Я не помню, в каком году наличие у советского гражданина иностранной валюты перестало быть преступлением. По-моему, тогда же, когда для нас открылись границы, – где-то в конце восьмидесятых. Открытие границ произвело на меня гораздо большее впечатление – всю первую половину жизни я мечтал о дальних путешествиях и не предполагал, что мечты мои осуществляются. А валюта – что валюта? В момент как грибы повывлезали ларьки, пооткрывались окошечки – пункты обмена валюты. Для меня это была ещё одна перемена в череде невероятных перемен – как отдельный факт не потрясло.

А вот с вывозом (и, по-моему, с ввозом) пресловутой валюты устаканивалось долго – я прямо физически ощущал, как не нравятся строгим представителям нашей строгой власти, стоящим на страже ворот, с которых только-только сня-

ли поржавевший уже замок, эти новые вольности – это еще что такое? Правила всё время менялись – я их уже и не упомяну. Одно время можно было вывозить ровно столько, сколько ты ввёз, деньги считали, выдавали такие противные зелёные бумажки, заполненные от руки, с печатью. Потом их стали при обмене выдавать банки. Я всё время боялся попасть под какое-то новое правило – а незнание-то не освобождает! И вот поездка моя чудесным образом накрылась, самолет улетел, а меня с руками за спиной ведут по тёмному секретному коридору.

Однажды я нарушил закон. Мне нужно было в Нью-Йорк по какому-то срочному музыкальному делу, и всего-то на одну встречу – в общем, я пересекал границу с махонькой сумочкой на тоненьком ремешке – называлась она тогда «барсетка», а чуть позже – «педерастка». Сумочка состояла из множества карманов и кармашков, и в один из них, самый неприметный, я засунул двести долларов. Никаких разрешений на вывоз валюты у меня на тот момент не оказалось, но лететь на встречу без копейки я не мог. Я приближался к границе, и ноги не слушались меня. Молодой красивый лейтенант таможенной службы повертел в руках мою барсетку и попросил расстегнуть молнию именно на этом кармашке. Негнуцимися пальцами я открыл кармашек, протянул сумочку лейтенанту и окаменел. Прожитая жизнь оказалась короткой и совершенно бессмысленной. Ну всё, вот же они лежат! Лейтенант заглянул в кармашек, потом строго

посмотрел мне в глаза, сунул в мои деревянные руки барсетку и сказал: «Проходите».

Спасибо тебе, далёкий незнакомый друг.

Зов

У приёмника было имя – «Филипс». И имя и внешность выдавали в нём инопланетянина. Я уже видел у товарища чудо рижской радиотехники – «Спидолу», она и задачу свою выполняла почти так же, и звучала почти так же, но вид отёкшей мыльницы, родовая печать социализма, не давал ей шансов. «Филипс» был нарисован совсем иначе – какая разница, казалось бы? Я даже не смог бы объяснить, сколь огромное это имело для меня значение. И не потому что я собирался форсить с ним перед друзьями – из дома «Филипс» выносить было нельзя. Нет, лично для меня. Как добиться элегантности от простого прямоугольного пластмассового ящичка? Наверно, надо много-много лет каждый день рассматривать, держать в руках и рисовать предметы исключительной красоты. И только их. В стране победившего социализма это было невозможно по определению. Оставшись в комнате один, закрывал дверь, брал его в руки бережно, в который раз рассматривал, не включая. Пропорции не совсем обычные – чуть больше, чем полтора квадрата, книзу чуть-чуть увеличивается в толщине – ровно настолько, чтобы увидеть это не глазами, а ощущением, всё на чуть-чуть! Задняя его половина из ярко-красного материала, по периметру примыкает хромированная антенна в форме буквы «П» – откидывается вверх одним движением. Фасад бе-

лый, по верхней части проходит ослепительная шкала – окно в мир. Наша часть этого мира ещё не знает слово «металлик», но сейчас могу сообщить, что цветом шкалы являлся именно светло-голубой металлик. Шкала не подсвечивается, да это и не надо – она и так горит огнём. Слева от неё выступает из корпуса колёсико, это громкость и одновременно включение. Щелк – и рядом загорается невозможно оранжевым цветом крохотный кругленький глазок. Цвет такой яркий, что кажется, что это лампочка. Ночью в комнате видно – нет там никакой лампочки, просто цвет такой. Справа от шкалы – такое же колёсико, оно плавно гоняет влево-вправо тонкую бордовую вертикальную стрелочку – это настройка. Дома у нас стоит пузатая лакированная радиола «Эстония» – она скорее мебель, чем прибор. На чёрной стеклянной шкале её изображены косо расположенные прямоугольнички, под ними надписи: «Копенгаген», «Рига», «Ливерпуль», «Осло», «Рейкьявик»... Это красивая художественно-политическая фантазия времён оттепели – никакого отношения хрипы и обрывки иностранных фраз, вылетавшие из «Эстонии», к этим городам не имели. На моем «Филипсе», на шкале, – только цифры. 31, 39, 42, 49 – короткие волны. И всё совпадает! За гудением глушилок прячутся вражеские голоса. «Программа «События и размышления». У микрофона Виктор Французов.» Мне плевать и на события, и на размышления – у битлов вышел новый альбом, они же не могут об этом не рассказать! Ведь это и есть настоящее

событие!

В субботу вечером вся семья на даче в Валентиновке. Вечером пьём чай на терраске. Стемнело. Видимо, глушилки не добивают до нашего дачного посёлка – папа крутит «Филлипс», внезапно отчетливо раздаётся: «This is the voice of America from Washington, Jazz Hour» – невероятный баритон Луиса Канновера. «Сделай тише, соседи кругом!» – строго командует бабушка. Бабушка знает, о чём говорит.

Но мой космический зов, мой далекий очаг неизвестных науке вибраций – это Radio Luxemburg 208. Двести восемь – это их частота, средние волны, это совершенно аполитичная радиостанция, которая двадцать четыре часа в сутки крутит свежую музыку. Никто их не глушит, просто они, видимо, не такие мощные, да и средние волны до нас еле долетают. Они приходят ко мне с другой планеты. Во всех отношениях. Они пробиваются из последних сил. Поэтому каждый долетевший звук бесконечно ценен и заряжает меня неведомой мне энергией. Я это чувствую каждой своей клеткой и больше всего хочу, чтобы это никогда не кончалось. Через пару часов глаза начинают закрываться, звуки визуализируются, я вижу этот волшебный мерцающий свет на самом краю вселенной, мне кажется, я даже могу разглядеть богоподобных людей с длинными волосами и невероятными электрогитарами – у меня никогда не будет такой, я вижу, как их пульсирующая, небесная музыка проридается ко мне сквозь радиопомехи – они похожи на дырявые колючие облака, они

тут и там, но музыка сильнее – какое это счастье! Спросите, кого я там слушал? Всех, кого передавали. Иногда узнавал Monkees, Dave Clark 5, Hollies, Kinks – и радовался им как старым знакомым. Кажется, они мне тоже.

Сегодня я часто думаю – а что было бы, если бы эта станция звучала в те годы из каждой радиоточки вместо «Радио Маяк»? Всех последствий предсказать не берусь. Но то, что она потеряла бы бóльшую часть своей магии – это точно. Она перестала бы быть Зовом. Ибо большое видится на расстоянии. А если расстояние с препятствиями... В результате просто хорошая музыка, пробиваясь через дырявый занавес, превращалась в несокрушимый заряд света и любви. И если угодно, – бесстрашия.

Знаете, от чего рухнул совок? От страха. Он всегда рушится от страха.

Про шанс

Дед мой Григорий верил в теорию скачка. Заключалась она в том, что каждому человеку в течение жизни однажды даётся возможность проявить свои способности в полной мере – со всеми последующими результатами. Просто длина этого волшебного отрезка у всех будет разной: у гения, например, он может составить почти всю жизнь, а у кого-то уложится в несколько месяцев, а может, и дней. И самое главное тут – не просмотреть, не упустить этот момент. Ибо это и есть шанс.

Многие мужики, насколько я замечал, очень любят вспоминать какие-то моменты своей биографии, связанные с упущенными, как им кажется, шансами. И сладко горевать по этому поводу. Подозреваю, что у женщин то же самое, просто это случается в женской компании. Если в реальной жизни таких историй не произошло или они были недостаточно яркими, их, как правило, дописывают или придумывают целиком. На самом деле это чудесное оправдание собственной неисклнучительности, и огромному количеству людей, страдающих комплексами, это оправдание – мёд на душу. «А ведь я Литературный закончил!» – привычно сокрушается мой товарищ, комментатор-пропагандист. «Мог бы Толстым стать! Достоевским! А тут вдруг жена, дети – и всё!» Здесь все сочувственно покачивают головами и выпи-

вают – за его нерастроченный талант. Да нет, дорогой мой, в который раз думаю я, не стал бы ты Толстым. И Достоевским бы не стал. Ровно потому, что не стал. Ни тем ни другим. И живёшь вполне довольным своей профессией. И женой, кстати. И дети вон какие замечательные.

Беседовал я тут с одним священником по поводу божьего промысла, иначе говоря, судьбы и возможного участия человека в этом процессе. Очень этот вопрос меня с детства волновал. Фатализм там, всякое такое. Ну правда – если путь твой заранее предначертан, значит выбора никакого и нет? И можно успокоиться и вообще не совершать телодвижений? Но ведь каждую секунду дорога перед тобой раздваивается, и ты выбираешь одну из двух – так, нет? И вот что этот мудрый человек мне ответил. Представь себе, сказал он, чтоб тебе было понятнее – вот режиссёр снимает фильм. Сценарий его утверждён и изменениям не подлежит. Роли тоже прописаны. Но от актёра зависит, каким будет его герой – обаятельным или неприятным, смешным, трогательным или трагичным. Он может менять слова в написанном для него тексте – на фабулу и сюжет картины это не повлияет – разве что на качество. Вот и весь твой люфт. Не думайте, кстати, что это ерунда – для актёра это очень важно: роль была такая серая, такая безликая, и диалоги говно, а он вывернулся наизнанку – и вон что из неё вытащил! Но то, что действует его персонаж по плану, который не обсуждается, – это само собой. Вот примерно так.

Да нет, мечталось иногда и мне, маячили призраки на горизонте. Ух как мечталось! При этом краешком головы я отлично понимал, что никуда не поеду – просто эта история не из моего сценария жизни. А бывало, что бросался всё же за каким-нибудь ослепительным, как казалось, шансом, и вскорости понимал – не надо было.

Много лет я мечтал об удаве. Я с детства любил змей и жили у меня постоянно всякие полозы и веретеницы. Но удав – это же совсем другое дело! И вот однажды некая язвительная девочка прервала мой постылый монолог и сказала: а что тебе мешает? Или тебе просто нравится ныть по этому поводу? Я страшно удивился – правда, ничего не мешало. Кроме того, что это была история не из моего сценария. Но я это понял потом.

Я заказал огромный дорогой террариум – в полкомнаты. Молоденького удава мне подарил мой друг Юра Дуров. Радости не было границ. Потом начались проблемы. Сначала надо было найти поставщика живых крысок – удавы ими питаются. Это оказалось непросто. Потом вдруг обнаружилось, что змея, террариум и практически вся комната покрыта ровным слоем крохотных клещей – видимо, пара их приехала в дом на удаве, и они размножились с невероятной скоростью и размахом. Я лечил бедную змейку и проводил дезинфекцию. Но не это главное. Удав оказался девочкой. В юном возрасте пол у них определить практически невозможно. Так вот, мальчики растут в среднем до двух метров, де-

вочки – до семи-восьми. Девочка моя (я назвал её Брунгильдой) ела крысок и росла как на дрожжах. Скоро она уже с трудом умещалась в террариуме и лежала там в три слоя, занимая всё пространство. Поднять её я уже не мог. Было понятно, что скоро она попросит отдать ей всю комнату. Пришлось отвезти Брунгильду в замечательный океанариум города Воронежа – она живёт там в огромном застеклённом вольере, и говорят, уже не скучает. Всё собираюсь навестить.

В другой раз я поддался искушению в Камбодже, когда наша весёлая дайверская компания вдруг решила взять напрокат скутеры и поехать посмотреть заброшенные буддийские храмы. Такой шанс – это же наверняка раз в жизни! Скутеры были старые, битые-перебитые, резина напоминала самолётное шасси. «Не садись, – устало шептал мне мой хранитель, – навернёшься». (Он использовал другое слово, похожее, но более точное.) И я уже почти отказался, но моя тогдашняя жена посмотрела на меня с таким презрением, что я плюнул и поехал. Разумеется, навернулся. На ровном месте. Порвал связки на ноге.

В общем, я полагаю, что все эти шансы – красивые заманухи, не более того. Скорее всего, навернёшься, да ещё и сладко жалеть впоследствии будет не о чем. Предлагаю вместо этого предельно внимательно слушать своего ангела-хранителя – он знает, куда поворачивать. Только имейте в виду – у него очень тихий голос.

Шаг

Долгое время я думал, что вот эта способность шагать и отличает человека от прочих животных. Шагают на двух ногах. Крокодил шагать не может. Лошадь может даже идти шагом, но всё-таки не шагать. Совсем недавно понял, что помимо человека на двух ногах отлично шагают птицы. Только они, сволочи, ещё и летают.

Большая часть моей жизни протекает в гостиницах. Уже забылись пыточные сооружения советского периода. Их объединяла лютая ненависть и тех, кто их строил, и тех, кто в них работал, ко всем, кому приходилось в них останавливаться. Забылся неповторимый запах смеси дуста и горелого масла из кухни ресторана, забылись удивительные дизайнерские решения – телефон и телевизор в гостиной, ванна в прихожей, а кровать почему-то в спальне. Огромный невыключаемый, гудящий, совершенно пустой холодильник, из которого тяжело пахнет покойником. Тюлевые прозрачные занавесочки в городе, где полгода не заходит солнце. Забудьте! Мы семимильными шагами идём в будущее! Умный дом – слышали?

Я вхожу в номер и вставляю карточку в волшебный паз. Раздается тихое жужжание – и шторы плавно расползаются, открывая взору панораму бескрайней незаконченной стройки. Погодите-погодите, я не этого хотел! Молчи. Умный дом

лучше знает, что тебе надо.

Минут десять ты ищешь возможность привести в прежнее положение занавески и исправить освещение, которое цветными переливами напоминает тебе то ли тайский СПА, то ли бордель 90-х. Душа взывает к обыкновенному выключателю, но это осталось в другой жизни. Наконец ты находишь в укромном месте панель управления – это деталь из сериала Star Trek, только значительно современнее. Сила, последовательность и продолжительность прикосновений к светящимся кружочкам и квадратикам приводит к изумительным по разнообразию и совершенно непредсказуемым результатам, но добиться того, что тебе нужно – зажечь настольную лампу и погасить всё остальное, – невозможно по определению. Позвать горничную стыдно – я же всё-таки не обезьяна из джунглей. Через полчаса создаю более-менее приемлемую картину, ещё полчаса ищу кнопки для задвигания штор (рукой не получается) – они, оказывается, спрятались по углам стен и этими самыми раскрывшимися шторами замаскированы навеки. И измученный иду в туалет.

На месте унитаза сверкает и подмигивает цветными лампочками огромное белое яйцо – чудо японской техники. Рядом с ним табличка – «инструкция к унитазу» с двусмысленными картинками и загадочными подписями – «обдуй тёплый средний». Очень осторожно присаживаюсь, зажмурив глаза от страха. Унитаз начинает тихо урчать, как разбуженная собака. Господи, пронеси. Проносит. Обречённо

жму кнопку «ON». Машина ещё некоторое время рычит, потом громко щёлкает и умирает. Ура, не работает! Боже, они даже обычный слив забыли убрать! Победа!!!

Завтрак в гостинице для меня – вещь абсолютно функциональная. Ты уже распланировал свой день, рассчитал время и забегаешь туда ровно на десять минут, чтобы проглотить яичницу и выпить кофе. Но у нас тут ресторан. Официанты, измученные воспитанием, плавают неспешно, как корабли, и поймать их взгляд совершенно невозможно. Спасительный шведский стол отсутствует. Через десять минут один из небожителей швартуется рядом со мной и томно интересуется, что мне подать. Мой ответ «яичница и кофе» его оскорбляет – желаете омлет, скрембл, пашот, глазунью? Бекон, свиные либо куриные сосиски, помидоры, сыр, фасоль, грибы, зелень? С диким трудом, глядя на часы, я его останавливаю. Он делает понимающий вид и уходит. Через три минуты вижу его, идущего ко мне. Неужели? Нет, он несёт салфетку и набор вилок и ложек – штук восемь. И ту же уходит, чтобы принести мне стакан воды. Вам со льдом? Я не просил! Он очень старается, правда. Просто они тут живут на какой-то другой планете. Как им кажется.

И тогда я встаю и делаю шаг. И ещё один шаг, и ещё. И выхожу на улицу, и перебегаю дорогу, прямо к двери, из-за которой так хорошо пахнет жареными булочками и кофейными зёрнами.

Часы

Посвящается С. Руссу

Да нет, господа, даже не пытайтесь меня убедить, что эти дешёвые пластмассовые электронные игрушки вы всерьёз называете часами – не разочаровывайте меня. Ну хорошо, в пространствах и помещениях, созданных для унижения людей – вокзалах, больницах, моргах, школах, кабинетах следователей, – они, пожалуй, смотрятся уместно и даже органично – не куранты же там вешать. Но предмет, которому вы доверили свой пульс, график своего дня и всей своей жизни, обязан быть только настоящим. Никогда не пристегивайте к перевязи картонную шпагу.

Удивительно – не могу вспомнить свои первые часы. Помню, о каких мечталось: дело было не в самих часах, а в ремешке. Коричневый, кожаный, он расширялся под часами, и они лежали в нём, как картина в раме. К тому же сверху и снизу от часов на этом ремешке располагались две маленькие полусферы из оргстекла: в одной крохотный компас, в другой – портрет Юрия Гагарина. Шпана носила эту конструкцию на внутренней стороне запястья – на случай драки.

В ящике тумбочки лежат часы, в которых папа вернулся с войны, – маленькие, прямоугольные, продолговатые, ремешок совсем истлел, железо корпуса потемнело, но циферблат

по-прежнему очень красивого оранжево-коричневого цвета. Называются Lapco. Я достаю их, машинально кручу головку завода – и они идут! Спустя семьдесят два года – идут! Разве это не чудо? Какое время они показывают? Сегодняшнее или то, послевоенное? Тогда ведь тоже днём было 14.05!

На тумбочке в спальне у родителей стоит будильник. Его зовут «Слава», это написано на циферблате. Белый пластмассовый параллелепипед со слегка выпуклыми верхом и низом, злые тонкие палочки вместо цифр, прямые бездушные стрелки. Дизайн эпохи «догнать и перегнать Америку». Без четверти семь «Слава» отвратительно тарыхтит, возвещая приход серого утра буднего дня. Я отношусь к «Славе» как к участковому врачу – побаиваюсь и не люблю.

Вид механизма часов меня завораживает – тончайшая, свернутая изящной спиралью пружина, прямо с чертежа Леонардо да Винчи, передающая своё напряжение плотно уложенным в единственно возможном порядке шестерням, – и каждая опирается осью на маленький розовый рубин, и всё это умещается в крохотном круглом корпусе, и всё это живёт и двигается, и восхитительно тикает, и честно сообщает нам ту часть информации о времени, которую мы в состоянии воспринимать. Мне кажется, эти ювелирные кишочки часов, очень хрупкие, я боюсь даже дышать на них. Мой друг часовщик Славка уверяет меня, что это иллюзия – на самом деле там всё очень прочно, иначе бы не ходили они по семьдесят лет. И смело лезет внутрь какой-то железной иглой. Я не

могу отделаться от ощущения, что лезут в мой собственный глаз, и отворачиваюсь.

Я собираю наручные часы Omega. Началось это случайно – я гулял по антикварному художественному салону и увидел их на витрине – это было произведение искусства в стиле ар-нуво – моей любимой эпохи. Я полюбовался на них, заставил себя уйти, некоторое время бессмысленно бродил кругами, потом решил вернуться и спросить цену. Цена ожидаемо огорчила, я отошел снова, и вдруг просто почувствовал, что вот прямо сейчас к прилавку подойдет неприятный, возможно, толстый, человек, равнодушно купит мою «Омегу» не разглядывая и не торгуясь, нацепит на волосатую руку и исчезнет с ней навсегда. Нет, это была определенно любовь с первого взгляда. Так было положено начало коллекции.

Я собираю не всю «Омегу» – только мужские и заканчивая началом семидесятых, – часы позднего Джеймса Бонда и американских космонавтов меня уже не интересуют. К тому же во мне нет одержимости истинного коллекционера – я не буду мыкаться по аукционам в поисках единственной редкой модели – меня интересует застывшее в этих маленьких машинках время. Не то, которое им приходилось показывать, а то, которое навсегда осталось в формах их корпусов, стрелок, в изгибах или стройной сухости цифр. Согласитесь, господа, мы почти не знаем случаев, когда предмет, служащий утилитарной задаче, ещё обладает признаками произведения искусства. Представьте себе стетоскоп в стиле ар-

нуво. Да и очки в те годы ещё не поняли про себя, что могут не только помогать людям видеть, но и быть красивыми. А часы сразу стали показателем вкуса, да и благосостояния их обладателя. И ещё – эстетическим знаком эпохи. А эпохи сменяли друг друга очень быстро.

И вот что ещё – часы умудряются переводить непостижимое, многомерное, неровное, как океан, Время, которое, скорее всего, и есть Бог, в ровно поделённую на секунды, минуты, часы и дни линейку. Часы сняли с поверхности океана Времени узенькую полосочку, выровняли и заморозили её, и мы едем по ней на роликах в сторону кладбища. Они с самого начала договорились между собой о том, что людям этого достаточно. И даже если мы чувствуем, что на самом деле Время за нашей спиной ведёт себя иначе, – мы не обобщаемся. Мы верим нашим часам. Часы – наши маленькие механические сердца, преданно ведущие нас по жизни в одном направлении.

Я смотрю на такие разные циферблаты – двадцатые, тридцатые, сороковые... Сколько раз в минуты своей жизни (а может, и смерти) смотрели на них хозяева, сколько взглядов отпечаталось на этих самых циферблатах, цифрах, стрелках... В окопе под Гельсингфорсом, в лениво гуляющей Одессе, за рулем эмки или «Победы»... Вы правда думаете, что всё исчезло, испарилось без следа?

А потом я осторожно снимаю с полки каждую машинку – по очереди – и завожу её. Это необходимо делать хотя бы

раз в месяц, чтобы смазка в механизмах не застывала. И часы оживают в моих руках. И когда работа закончена и все часы уложены на места, я прикрываю дверку шкафа и прикладываю к ней ухо. Какой же замечательный, еле слышный разговор идёт там, внутри! Сколько рассказов звучит одновременно!

Разобрать бы.

Чемодан

*Чемоданы бывают разные:
Элегантные, безобразные,
Дорогие, недорогие,
Чисто дамские и другие,
Из фанеры, брезента, из кожи и
Вообще ни на что не похожие,
Заменяемые, незаменимые...
А бывают – твои любимые!*

Это посвящение я написал одному из своих последних чемоданов. Прямо на его же крышке. Толстым белым маркером. Вообще-то, конечно, чтобы его не спутать с чужими, – в век унификации много одинаковых, а мой на ленте сразу видно – вон он едет, родной. Но не только для этого. Пом-ему, ему было приятно.

Кто-нибудь помнит свой первый чемодан? По своим чемоданам я могу восстановить историю собственной жизни. В пионерлагерь я поехал со своим первым чемоданом – кажется, его для этого и купили: из серо-белой рябой клеенки, на молнии, с черной пластмассовой ручкой – последний писк! Рядом с ручкой наклеили бумажку – «А. Макаревич, ст. гр.». Пара предыдущих семейных чемоданов были ещё, видимо, бабушкиными-дедушкиными – фибровые, непонятного цвета, с двумя металлическими неработающими замка-

ми и оклеенные изнутри чёрт знает чем. В общем, они уже тогда казались старинными. Роскошный чемодан был у папы – он с ним раз в два года выезжал в загранкомандировки: он был большой, картонный, наглое оранжевого цвета, с хромированными уголками и весь облепленный яркими липучками с эмблемами иностранных отелей. Думаю, липучки эти лежали прямо в холлах этих отелей – мода была такая. Папа уверял, что он заклеивает ими царапины на чемодане, но я-то знал, что это не так: папа награждал чемодан орденами и медалями за отличную службу. Сколько лет он ездил в командировки, и всё с этим чемоданом, другого я не помню. А вы говорите – картон. Собирая папу в дорогу, мама укладывала в чемодан тушенку, бычки в томате, чай, кипятильник, эмалированную кружку – из денег советским работникам полагались только суточные, а надо же было всем купить подарки! Однажды в Америке или в Канаде кипятильник у папы коротнул, и во всем Хилтоне погас свет. Изумленные иностранные монтеры так и не поняли, что произошло, – папа успел спрятать советский прибор. Во жизнь была!

Довольно скоро школа закончилась, учась в институте я не так уж много и ездил, а если и путешествовал – то с зелёным брезентовым рюкзаком. А с 1979 года «Машину времени» вдруг пустили на гастроли – и вопрос функционального, надёжного и приятного во всех отношениях чемодана встал ребром. Время шагнуло вперед – я купил (на свои деньги!) невероятно модный чемодан из чёрного сверкающего пла-

стика, зализанной космической формы, с роскошной скобой матового металла по всему периметру и утопленными в эту скобу замками. Отечественный, между прочим! Слушайте, я недавно был в музее Джимми Хендрикса в Сиэтле – он ездил с таким же, только, наверно, американским! Нет, ну получалось у наших иногда!

На гастролях проходила бóльшая часть жизни, и умение правильно обращаться с чемоданом точилось от года к году. Это сегодня группа приезжает в город с одним выступлением, а тогда заселялись в среднем на неделю – это четырнадцать концертов, а потом ещё на шесть – в соседний город. Гостиницы отличались крайним недружелюбием по отношению к тем, кто в них останавливался, о каких-то услугах типа стирки или заказа перекусить в номер ещё и слыхом не слыхивали. В одиннадцать часов, когда мы возвращались в гостиницу после двух концертов, возбужденные, голодные и готовые на всё, в ней как раз окончательно замирала жизнь – буфет и ресторан закрыты, и только дежурная на этаже строго следит за уровнем шума и наличием посторонних дам в вашей камере. Как же мы весело жили в этих приближённых к боевым условиях!

Так вот. Чемодан становился для тебя частью далёкого дома, и от того, как он сложен и что в нём лежит, напрямую зависели две недели твоей жизни. Я дошёл до совершенства. Сегодня я точно знаю, сколько и чего мне понадобится на предполагаемый отрезок жизни, и главное – что мне не по-

надобится. Чемодан – квинтэссенция необходимого и достаточного. Предмет моей особой любви – маленькие дезодоранты, одеколончики, пена для бритья и прочие косметические радости – каждый сантиметр в чемодане имеет значение. Есть у меня пара друзей, чемоданы которым собирают жены, – я сознательно обхожу в разговорах с ними эту тему, так как не хочу их потерять. Но вообще, это, конечно, чёрт знает что такое: укладка чемодана – интимнейший процесс, какие жены?

Я приземлился в Дублине под вечер – мы с клубом Михаила Кожухова затеяли маленькое путешествие по Ирландии. Свой любимый четырехдневный чемодан (у меня в парке чемоданы 1–4, 5–10, 11–20, далее специальные) – так вот, любимый крохотный полосатый чемоданчик я почему-то в этот раз сдал в багаж – очень уж много напридумывали правил безопасности, обязательно придерутся к какому-нибудь флакончику или баллончику, и придётся унижаться, доказывать, а то и расстаться с предметом. В Москве уже началось лето, я прилетел в маечке, тёплые вещи лежали в чемодане. Я даже не понял сначала, что произошло, когда опустевшая лента транспортера остановилась. Мой верный чемоданчик не прилетел. Он потерялся.

Мне трудно описать, какая печаль и беспокойство на меня вдруг нахлынули. Я напрасно убеждал себя, что мы не в пустыне, и сейчас в ближайшем дешёвом магазине я за десять минут куплю всё необходимое, и что двенадцать граду-

сов – не такой уж смертельный холод, чтобы не добежать до машины, и что моя привычка слишком уж одушевлять любимые предметы выглядит глупо, а чемоданчик завтра найдётся, – ничего не помогало: я ждал близкого друга, а с ним что-то случилось. Что с ним, где он сейчас? А ведь я летел через Париж! Ну конечно, он потерялся в Париже! Неужели он сейчас один в огромном бестолковом ангаре аэропорта Шарль-де-Голль?

Конечно, сила воли и логика взяли верх. Мы заехали в копеечный магазин Penny's, где я за восемь евро купил отличную куртку, зубную щетку и бритву. А мой чемоданчик на следующее утро торжественно привезли в отель на отдельном лимузине, как важную персону. И всё-таки слёзы счастья выступили у меня на глазах, и мы пошли с ним в бар, и я выпил за его здоровье.

Скажете, я псих?

Корабли

Если строго по-русски – кораблём называется исключительно военная посуда: крейсер, линкор, торпедоносец. Даже тральщик. А вот сухогруз или мирный круизный теплоход следует называть судном. Ударение на первом слоге. Я всегда вздрагиваю – не дай бог ошибёшься с этим ударением – и сразу получится чёрт знает что такое.

В молодые годы я очень любил уезжать на рыбалку один. На пару дней. На дворе тихо стояли семидесятые годы прошлого века, и конца советской власти еще ничего не предвещало. Я собирал свой зелёный брезентовый военно-пионерский рюкзак (других мы тогда не видали) – вермишель, банку тушенки, котелок, чайничек, кружку, буханку чёрного, бутылку водки, свитер, накидку от дождя, блесны, запаренный геркулес для леща и плотвы, спиннинг и удочки. Палатку и спальный мешок я не брал – мои ватные штаны, усиленные многократным вытиранием об них рук после снятия пойманной рыбы, не пропускали ни воды, ни холода, и поскольку плотность их напоминала шкуру ящера, они звались «зауроподы». Однажды я ночевал в них прямо на снегу.

Потом я направлялся в районе часа ночи на Савеловский вокзал. Страшен и тёмн он был в эту ночную пору. Впрочем, и днём в те годы он глаз не радовал. Я шёл к плацкартному вагону, давал проводнице рубль – билетов никто не по-

купал – и, огибая редких и уже пьющих рыбаков и каких-то звероподобных личностей, забирался на вторую полку, клал рюкзак под голову и чутко спал до Калязина – к этому моменту уже светало, я выглядывал в окно – поезд, казалось, стоял прямо посреди бескрайней воды, из которой одиноко и несколько криво торчала колокольня – всё прочее накрыло водохранилищем. Пейзаж был грустный и всегда нереально красивый – в любую погоду. Потом поезд начинал ползти в обратном направлении – менял ветку. Еще через час я сходил на станции под названием Высокое. Не сходил – спрыгивал со ступеньки вагона в ковыль, доходивший мне до подбородка, перрона там отродясь не было. И станции, собственно, не было – стоял высокий почерневший сруб из трёх стен и крыши – прятаться от дождя. Кассы, разумеется, там тоже никакой не было, и я всё время думал – где местные жители покупают билет когда, скажем, едут в Калязин или Углич за покупками? Тоже дают рубль проводнику?

Стены сруба изнутри были сплошь украшены надписями – обычные, приличествующие таким местам слова из трех-пяти букв, иногда в сочетании с женскими именами, но попадались довольно пронзительные вещи: «4 октября 1971 года. Уезжаю в армию. Меня никто не провожал», и особенно (я оторопел, прочитав): «Что есть наша судьба, как не проявление воли и рассудка среди инертной массы обстоятельств, которые предоставляет нам жизнь?» Вот за что я люблю нашу страну.

Я шёл по шпалам километра три до маленького железнодорожного моста – справа, почти на горизонте, виднелась широченная Волга, от неё начинался большой залив, через который мост и был перекинут. Слева от моста залив расширялся и превращался в огромное озеро, окружённое давно не паханными лугами. Дальше темнел сосновый бор, богатый белыми грибами. Ни души, ни признака жилья до горизонта. У меня было любимое место по правому берегу – он тут был сухой, довольно высокий, и прямо от кромки шла глубина: отличное место для леща. Я сел на край бережка, не спеша распаковывал рюкзак, разматывал снасти. Покой и благодать, в которые я погружался, я нигде и никогда больше не испытывал (имея привычку делиться радостью, несколько раз брал с собой друзей и даже подруг – напрасно: мешали). Леща следовало прикормить, брать он начинал не сразу.

В тот раз погода стояла какая-то особенно тихо-дремотная – ни звука, ни ветерка. Лещ не клевал, и я не заметил, как заснул. Пробуждение моё было ужасным: странные звуки вернули меня в сознание, я испуганно обернулся: весь луг позади меня был заполнен коровами, а самая главная стояла от меня на расстоянии вытянутой руки и, грустно глядя мне прямо в глаза, ела своей огромной мордой, роняя слюни, чёрный хлеб прямо из моего рюкзака – вместе с целлофановым пакетом. Я заорал, корова нехотя ускакала вдаль с остатками моего хлеба в зубах. Приковылял маленький лукавый мужичок – пастух. Мы познакомились.

Пастуха звали дядя Лёша. Мы поговорили о рыбалке – о том, что второй день не клюёт, потому что давление, и рыба от этого ушла на самое дно, а вот третьего дня – да, клевало, и сам дядя Лёша натаскал отличных лещей («Лящ – шо лопата! Его тащишь, а он глазами крутит, как дезертир!»). В процессе беседы дядя Лёша поглядывал на бутылку, торчавшую из моего разорённого коровой рюкзака, и в конце концов позвал меня к себе ночевать. Деревня стояла неожиданно недалеко – просто с берега её не было видно.

Деревня оказалась маленькой, древней и почти брошенной – я пришёл туда уже в темноте. И изба у дяди Лёши была крохотная, ушедшая одним боком в землю. Кринки на заборе, пара совсем чёрных икон в углу, фотографии родителей в рамке, немислимый коврик с оленями на стене, русская печка, занимавшая половину всего пространства, – дядя Лёша и его бабка Матрёна на ней спали. Мы как-то сразу подружились, и останавливался я у них потом много раз. Дядя Лёша, выпив, делался озорным и начинал божественно врать про свою жизнь. Утверждал, например, что он старый рабочий-путиловец, отчаянный революционер. По возрасту не очень сходилось, но это ещё ладно. А вот тот факт, что он лично присутствовал на съезде, на котором Ленин провозгласил Советскую власть, уже совсем ни в какие ворота не лез. У дяди Лёши, правда, было неопровержимое доказательство – вырванная из журнала «Огонёк» репродукция картины Серова, на которой Ленин как раз провозглашает

эту самую Советскую власть. Дядя Лёша тыкал коричневым пальцем в затылок какого-то большевика на переднем плане и кричал: «Вот! Смотри! Я!» Аргумент обычно сражал собеседника наповал.

В тот первый вечер мы прекрасно выпили водки под варёную картошку с малосольными огурчиками, поговорили про рыбалку, про восстание путиловцев. Потом бабка Матрёна постелила мне на лавке, дядя Лёша, кряхтя, полез на печку, а хозяйка задула керосиновую лампу и замерла у окна. Стало темно, в окошке видна была Волга, горели огоньки бакенов, и мимо них беззвучно шли баржи и пассажирские теплоходы, палубы и окна их светились. «Волга-то вся в огнях», – проговорила бабка Матрёна, чудесно окая. И, помолчав, добавила: «Вот чего не могу понять: как это такая тяжесть – и на воде держится?» «Эх, дура баба...» – огорчился дядя Лёша с печки, и замолчал. Похоже, у него не было ответа. Я прямо чувствовал в темноте, как он смотрит на меня с надеждой.

Я отвернулся к стене и притворился спящим. Я тоже не имею ни малейшего понятия, как такая тяжесть держится на воде.

Дорога

Давайте, господа, сразу договоримся – какую именно дорогу мы с вами будем иметь в виду. Если в сакрально-мистическом смысле – «дорога познания», «путь воина» – тогда без меня, я этой повидлы нанюхался в ранней юности. Нет, я о дороге как таковой – о творении рук человеческих.

В седьмом классе я освоил три главных аккорда на семиструнной гитаре, и меня поглотили дворовые песни. Это был бездонный океан чёрт знает чего – настоящий народный блатняк, беспомощные пионерские поделки, опусы каких-то шутников, считавших смешным переложения сюжетов «Гамлета» и «Фауста» на те же три аккорда в походно-блатной стилистике, творения бардов – Кима, Городницкого, Визбора, молодого еще Высоцкого, Окуджавы. Иногда они были безжалостно подрихтованы под упрощённо-народное понимание. Помню, у меня в сознании засела одна походная песня – в последнем куплете пелось: «Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, ветер рвёт горизонты и раздувает рассвет». Не знаю, чем тронула мою юную душу эта романтическая вампука (ставшая, кстати, прототипом для блестящей «Снежинки» Кортнева) – может, необычным рваным ритмом, может, этим самым «щемящим чувством дороги» – я мечтал о путешествиях, хотя доступны мне тогда были только походы, ограниченные просторами

родной страны, и ранним рассветным утром, направляясь по пустынной Москве на вокзал с рюкзаком, я это щемящее чувство с удовольствием испытывал.

Так вот, дороги, господа.

Фраза типа «дорога в неведомое» – восторженная чушь шестидесятых. Дороги никогда не строили просто куда-нибудь – в неведомое: слишком дорогое удовольствие. Дорога всегда идёт известно куда – и известно откуда. Дорога всегда предельно рациональна и служит сугубо практической цели – коммуникации селения с селением, города с городом, страны со страной. Знаете, как прокладывали пешеходные дорожки по газонам в одной из стран Европы полвека назад? Сначала просто засевали газон травой – никаких дорожек. В конце концов люди начинали ходить через этот газон – там, где им было максимально удобно. Через год натоптанную тропинку асфальтировали или укладывали плиткой. Это всегда оказывался самый разумный путь. Дороги возникали точно так же. Мы сейчас уже не думаем о том, что большинство дорог Европы проложены ещё римскими легионерами – у них была мощная мотивация: они завоёвывали мир. Дороги – безжалостное орудие человеческой экспансии. Они прокладываются по живому и убивают всё живое вокруг себя. Это шрамы на теле земли, господа. И вот удивительно – когда я пытаюсь мысленно наполнить дорогу людьми и событиями, картины выходят грустные. Ну смотрите: наступали на войне по-разному – по полям, лесам, форсируя реки,

а вот отступали всегда по дороге – и побитая армия, и гражданские – изможденные люди, голодные дети, телеги со скарбом. Я хорошо вижу, как гонят каторжников по Владимирке, но не могу себе представить, как они весело возвращаются с каторги той же дорогой, обнявшись и распевая песни. Я не могу нарисовать себе картину, как гордая и счастливая роженица идёт по дороге с младенцем на руках, зато отлично вижу, как унылая процессия провожает кого-то по этой дороге в последний путь. Почему так?

В семьдесят третьем, кажется, году мы набрали с друзьями на сказочное место. Мы случайно прочитали о нём в старом номере журнала «Наука и жизнь», но, собираясь в поход, до конца не верили написанному – уж больно это всё выглядело невероятно – брошенные старинные деревни, бревенчатые храмы, звери, выходящие к костру. Так не бывает. Да и журналу этому к тому времени было уже лет десять. Но – пошли. Следовало доехать поездом до Петрозаводска, оттуда – «Ракетой» до Великой Губы. (Ага, уже не знаете, что такое «Ракета»? Стремительное пассажирское плавсредство на подводных крыльях! Всё, кончились «Ракеты».) Далее пешком через лес до Яндомозера. Недалеко, несколько километров. Поразительно – всё оказалось чистой правдой, как будто и не прошло десяти лет с написания этой статьи. Время тут текло по другим законам.

Сойдя с теплохода и быстро миновав Великую Губу – несколько двухэтажных, почти чёрных деревянных барakov,

мы уперлись в лес. Лес был невысок, но необыкновенно густ и стоял непреодолимой стеной. Ели переплелись ветвями, из земли, покрытой мхом и осыпавшейся хвоей, тут и там вылезали огромные скользкие валуны. В лес не было входа. Мы даже несколько растерялись. С трудом найдя еле заметную тропку, втиснулись в чащу. Тропка быстро исчезла, дальше прорубались топором – по компасу. Каждый метр давался с диким трудом. Я потом только однажды видел столь же непроходимую чащу – на Амазонке. Лес не хотел нас пропускать. Мы ползли часов шесть и вымотались совершенно. Мы победили. Лес закончился так же резко, как и начинался, и мы очутились на берегу бескрайнего, невероятно синего озера. На далёком противоположном берегу виднелась чуть покосившаяся деревянная колокольня, темнели силуэты домов.

Я уже подробно описывал это заколдованное место в книжке «Сам овца», повторяться нет смысла, и я сейчас не про это. Мы подружились с пастухом Женькой, единственным жителем этих давно заброшенных мест, и ездили туда почти каждый год. Лес нас уже не пугал. Мы ездили не за рыбой, не за иконами, которых в храмах и бог весть когда оставленных домах ещё хватало – мы ездили, чтобы вновь и вновь физически ощутить время, которое не идёт. Это нельзя описать, это можно только почувствовать.

В один из приездов (он оказался последним) мы подошли к родному уже лесу и застыли, увидев невероятное. Прямо

от нас в лес уходила... просека? Дорога? Нет, нет в русском языке слова для обозначения того, что открылось перед нами. Помните фильм «Аватар» – главный герой просыпается от того, что сквозь лес движется огромная чудовищная машина, круша и выкорчёвывая всё живое? В общем, мы увидели глубочайшую и широченную колею, земля была совсем свежая. По бокам вповалку лежали вырванные, сломанные и спиленные деревья. Потрясённые, мы двинулись по колее и через тридцать минут упёрлись в берег озера – как же недалеко оно оказалось! Мы стояли на берегу и понимали, что отныне всё пойдет не так.

И всё пошло не так.

Умер пастух Женька. Старинные двух- и трехэтажные срубы быстро растащили на дрова хлынувшие в портал туристы, а может, и местные. И время расколдовали, оно вздохнуло и потекло как положено.

Кому же понадобилась эта варварская дорога между двумя мирами? Объяснение всего, что в России не получилось, начинается со слова «хотели». «А что это за болото у вас за посёлком?» «Да хотели пруд сделать...» В общем, мне рассказывали, что руководство, впечатлённое чистотой и размерами озера, решило разводить там ценные породы рыб. С этой целью прорубило просеку и первым делом потравило всё, что в озере обитало: щуку, окуня, синца, плотву... в общем, неценные породы. А потом выяснилось, что в силу объективных обстоятельств ценные породы рыб в этом озере

жить не смогут. Вот и всё. За что купил, за то продал. Давно дело было.

Ну ничего. Там, говорят, теперь по берегам дачи местного начальства и состоятельных людей.

«Счастлив, кому знакомо
Щемящее чувство дороги...»

Памятник

Как вы полагаете – кому человечество давно должно поставить памятник? В первую очередь? Нет, ни Богу, ни царю, ни полководцу, ни писателю, ни художнику, хотя каждый из них, безусловно, заслуживает памяти. Это будет памятник обыкновенному пожилому человеку. «В возрасте дожития», как это чудесно называет наша медицина.

В определенный момент этот человек замечает, что его родное, единственное и ещё вчера такое послушное тело больше не такое послушное. Человек понимает, какое счастье было его не замечать, и ещё понимает, что счастье это покинуло его навсегда. Отныне он внутри машины, которая с каждым днём всё настойчивее требует капремонта, на ближайших станциях техобслуживания очереди, причём бессмысленные, так как запчастей нет и не будет, да и мастера подразбежались. За кордоном есть и мастера, и некоторые детали, но цены такие, что в случае с машиной вы бы уже плюнули и купили новую. С телом это, увы, не проходит. Вы читаете про революцию в науке, про выращенные из стволовых клеток органы, суставы и целые конечности и отчётливо сознаёте, что эти чудо-технологии станут достоянием широких масс аккурат на следующий день после ваших поминок. Загибающийся автомобиль сообщает вам о своих проблемах стуками, хрипами, мигающими лампочками. Тело беседует

с вами с помощью боли. Оно становится в этом плане таким изобретательным и разнообразным, что порой вызывает искреннее восхищение. И вы с этой сволочью один на один. Жаловаться бессмысленно – у детей вы будете вызывать раздражение: они просто не поймут, о чем вы, у них сейчас совсем другие проблемы. Если вы поддерживаете детей деньгами, раздражение они постараются спрятать. На время. Не все это умеют. Жаловаться товарищу своего возраста тоже глупо – у него-то как раз те же проблемы, и вы в одинаковом положении. К тому же товарищей этих вокруг вас становится меньше и меньше. И не дай бог пожаловаться человеку старше тебя: он тут же намекнет на разницу в возрасте и мягко объяснит, что по сравнению с ним вы ещё в самом начале этого интересного пути. Можно жаловаться врачам, но мы выяснили, что это как минимум дорого.

А голова? Этот твой домик, внутри которого ты, как тебе казалось, не стареешь и привычно командуешь телом? Долгое время действительно так и было, и вот кончилось: ты по привычке приказываешь себе легко выпорхнуть из машины (она у тебя всё ещё молодежная, спортивная), а тело нескладно выкарабкивается, медленно перенося вес на ногу, которая, естественно, болит. И это ещё не основные сюрпризы: то, что ты стал хуже видеть, ещё бог с ним: ты купил красивые очки, и они тебе даже идут. Со слухом сложнее: красивых, как очки, слуховых аппаратов почему-то нет, и тебе кажется, что все окружающие с брезгливым любопытством

заглядывают тебе в уши, которые заткнуты чем-то вроде кусочков пластилина. А без этих затычек ты либо просишь повторить каждую обращенную к тебе фразу дважды, либо сидишь в компании, глупо улыбаясь и делая вид, что слушаешь собеседника, пока не замечаешь, что он уже давно задаёт тебе какой-то вопрос, а ты продолжаешь благожелательно кивать.

Память начинает вытворять чудеса, услужливо вынимая из прошлого совершенно ненужные тебе фрагменты (причём украшенные микроскопическими деталями), она наотрез отказывается работать в коротком бытовом диапазоне, и скоро твой ежедневный выход из дома разбивается на несколько фаз: вышел – вернулся за очками – вышел – вернулся за телефоном – искал телефон, пока он не зазвонил – вышел – вернулся за ключами от машины. Самое ужасное то, что ты начинаешь к этому привыкать. Человек быстро привыкает к хорошему.

Ты перестаешь наряжаться. Потому что дизайнеры всего мира шьют для молодых. И на молодых. И ты понимаешь (хорошо, если понимаешь), что узенькие джинсики с нечеловечески низким поясом будут отлично сидеть вот на том длинном, худом, молодом настолько, что он ещё и с ориентацией-то не до конца определился, а твое брюшко повисает над этими джинсиками на манер второго подбородка, с которым у тебя, кстати, тоже проблемы. Можно, конечно, поискать одежду более взрослую, но она подаст тебя именно

тем, кем ты стал так недавно – пожилым, слегка склонным к полноте человеком, и тебе отчаянно не захочется выглядеть самим собой. Результаты этих мучений известны: либо плюём на всё, донашиваем старое (если влезает), либо последний отчаянный рывок в мир иллюзий – подкрашенные волосы, совершенно бессмысленные походы в спортзал, диеты, начинающиеся каждое утро и заканчивающиеся каждый вечер, посильное втягивание живота при приближении объекта женского пола (памяти и тут хватает минуты на полторы – потом следует неконтролируемый выдох).

В общем, жизнь ваша наполняется совершенно новыми смыслами. И если вы держите эту безостановочную серию ударов, отлично понимая, что победы не будет и задача в том, чтобы красиво проиграть, если вы не потеряли способности улыбаться, шутить и иногда даже нравиться женщинам – вы настоящий герой. И заслуживаете поклонения и памятника.

Вы думаете, я это всё о себе? Да прям. Я только приближаюсь к старту. И иногда наряжаюсь. Как идиот.

Дар

Товарищ замполит, рядовой Сидоров по вашему приказанию явился..

– Вольно, Сидоров. Заходи. Ну что, придумал?

– Дык никак нет, товарищ замполит.

– Так, Сидоров, кончай ваньку валять. Ну не бывает на свете такого человека, который вообще ничего не умеет, понимаешь? Не бы-ва-ет! Ты хоть знаешь, какой у нас нынче год? Год солдатских талантов! Как пить дать, приедет комиссия – меня же с говном съедят! Всё, поехали сначала. Откуда родом?

– Дык с-под Архангельска...

– Ну вот! Архангельская область! Это же кладезь народных песен, хороводов, танцев! Ну хоть что-нибудь в калгане твоём дурном осталось?

Ну, это... батя на стакане играл...

– На стакане?

– Ну да. Любую песню простучать мог, как выпьет.

Батя ладно. А ты?

– Я – нет.

– А может, что-нибудь народно-экзотическое? Один, помню, на пиле умел...

– Не умею.

– Так, ясно. Поехали дальше. В школе чего-нибудь было?

– Ну как... в хоре пел...

– Ну вот! А говоришь!

– Так то – в хоре! Стоишь и разеваешь рот – как все.

– А без хора?

– Без хора – никак.

– Может, в группе играл? Все играли!

– Просился – не взяли. Ритма нет.

– О боже! Может, в каком виде спорта наблюдаются за-
датки? Хотя какой там спорт... Шахматы, шашки?

– Никак нет.

– Ну всё. Кончились мои силы. Стихи будешь читать вме-
сте со всеми придурками! Пушкина, нах! «Травка зеленеет,
солнышко блестит!» Марш учить наизусть! Пошёл вон!

Сидоров выкатился за дверь, а замполит ещё долго си-
дел за столом, обхватив руками свою большую лысую голо-
ву. Нет, лучше в атаку, ей-богу. Вон у десантников – и на-
родный танец «Казачок» танцуют, и «Не думай о секундах
свысока» поют, и даже солдатский камеди-клуб организова-
ли – АКМ-2018 называется! А у нас? Чурбан на чурбане! И
что с ними прикажете делать? И почему именно я?

Рядовой Сидоров спустился по ступенькам, вдохнул про-
зрачный мартовский воздух и закурил. Был он мал, тщеду-
шен, рыжеволос, веснушат и лопоух. На человека искусств
он и вправду не походил – его ещё можно было бы кое-как
вписать в роль солдата Чонкина, но пьесу эту руководство
части вряд ли одобрило бы. «И чего этот прыщ до меня до-

копался? – тяжело думал солдатик, понуро двигаясь вдоль ряда красивых автомобильных покрышек, выкрашенных в цвета российского флага. – Что из него всякая блажь лезет? То петь, то рисовать!»

Зайдя за угол казармы и убедившись, что никто за ним не идёт, рядовой Сидоров выбросил бычок, оттолкнулся левым сапогом от земли и легко взмыл в синее весеннее небо.

Компромисс

Все без исключения мужчины (о женщинах судить не берусь) полагают себя абсолютно бескомпромиссными созданиями. Это льстит их самолюбию: бескомпромиссность – это твёрдость характера, мужественность, верность идеалам. Человек, склонный к компромиссам, – бесхребетный конформист. Между тем картина эта бесконечно далека от реальности. Вот что я скажу вам, милостивые государи: в жизни любого человека имеют место только два бескомпромиссных поступка – его рождение и его смерть. Нельзя наполовину родиться или немножко умереть: вот ты пришёл и вот ушёл. Всё же остальное, расположенное между двумя этими событиями, – один нескончаемый компромисс сосуществования с окружающим вас миром. Этот компромисс состоит из тысяч мелких и крупных компромиссов, большую часть которых мы даже не замечаем. Не верите? Поехали.

Утром вас вырывает из сна будильник. В принципе он будит вас как раз к тому моменту, когда можно не спеша встать, принять душ, позавтракать и отправиться по делам, всё давно посчитано. Но страшно не хочется выбираться из постели, за окном дождь. И вы решаете поваляться еще минут восемь – сэкономим время на всём остальном. Ну ладно, шесть. Пять. Что это, по-вашему? На завтрак полагается йогурт и овсянка – доктор настоятельно рекомендовал, у вас

хронический гастрит, но вдруг очень захотелось глазунью. С помидорами. И бекончиком. Ну ладно – не три яйца, два. И выберем те, что помельче. И масла совсем чуть-чуть. И без хлеба. Ну ладно, корочку. И только сегодня. А?

На службе вам предстоит разговор с шефом. Причём малоприятный. И нужно это вам, а не ему. И вам сложно будет его убедить в вашей правоте – аргументы типа «а ведь я предупреждал» в беседе с начальством недопустимы в принципе. И вы отлично понимаете, что оттягивать этот разговор убийственно – дальше будет только хуже. Но вы стоите в пробке, и этот мерзкий дождь, и от этого всё предстоящее вам противно вдвойне... Может, всё-таки завтра? А может, вообще попробовать по телефону?

Любопытно, что вся эта нескончаемая канитель конформизма опутывает мужчин только на той территории, где они что-то должны. Пространства, где они что-то хотят, подчинены совсем другим, прямо противоположным законам. Почти все мои друзья после пятидесяти, не сговариваясь, что-нибудь себе сломали – кто руку, кто ногу. Кто на лыжах, кто играя в футбол. Многие неоднократно. Нежелание смириться с тем, что тело твоё и кости уже не такие, какими были двадцать лет назад, приводит к абсурдным и опасным решениям. И я напрасно твержу седеющему дяденьке: не соревнуйся с собой тридцатилетним, сойди с дорожки: тебе его не догнать, бывшие твои зрители давно покинули стадион, а те немногочисленные, что пришли им на смену, любят тебя

за другое. Какое там! На меня смотрят с сожалением, как на слизняка. Никаких компромиссов!

За окном 1981 год. Я понуро сижу в кабинете главного литературного редактора «Мосфильма». Главного редактора зовут Нина Николаевна, у неё грустный мудрый взгляд и тихий голос. Андрюшенька, говорит она, вы же сами всё прекрасно понимаете. Картина и так висит на волоске, это вообще удивительно, что вашу «Машину времени» утвердили. А сейчас от нас с вами требуют мелочь – исправить три слова в текстах. Смотрите, вот тут надо заменить слово «бог», вот тут – слово «тюрьма» и вот тут – «то, что слева, и то, что справа». И всё! Вы же прекрасно пишете, вы это сделаете так, что и смысл не уйдёт, и хуже не станет. Вы, конечно, вправе упереться – картину положат на полку, вы подведёте режиссёра, сценариста, артистов, съёмочную группу, всех, кто потратил год своей жизни на этот фильм. И всё из-за трёх слов. Решайте.

Мне невероятно, непередаваемо плохо. Моему ребёнку требуют отрезать здоровый палец и изготовить протез, который должен быть не хуже. А так не бывает. Но я действительно не могу подвести Сашу Стефановича, Володю Климова, Мишу Боярского, Софию Михайловну, Ролана Быкова и всех-всех. Это только так говорится, что выбор есть всегда. Не всегда. И я иду править тексты.

Удивительное дело – прошло тридцать семь лет, и фильм-то уже никто не помнит, и много раз после этого мне при-

ходило́сь бодаться с редакторами, а этот эпизод помню, как будто всё было вчера. И мне опять становится нехорошо.

И ничего не могу с собой поделать.

Про пенсию

Вот уж о чём никогда в жизни не вспоминал, так это о пенсии. Не подумайте только, что я агитирую за пенсионную реформу – просто сужу по себе: по кому же ещё судить? И связано это не с беззаботностью, а с элементарными особенностями психологии – нежеланием думать про неизбежное. Ну в самом деле – пока ты молод, ты вообще не рассуждаешь на тему, что будет потом, когда эта твоя молодость вдруг кончится. И вообще, нет ощущения, что она кончится, и занят ты совершенно другими проблемами. Потом, когда она всё-таки кончается (это почему-то называют «кризис среднего возраста» – почему «кризис», почему не «апофеоз»?), ты ещё довольно долгое время не желаешь это признавать, и сперва это даже удаётся – тут все мысли, напоминающие о грядущей старости, особенно неуместны. Какая, к чёрту, пенсия? Этот дуб ещё пошумит! Но дни летят быстрее и быстрее, и неизбежное приближается. Твои потуги косячить под молодого становятся всё более наивными и нелепыми, и это замечают уже не только все окружающие, но и ты сам. И вот не так давно мне принесли нарядный пакетик, где лежала социальная карта москвича, пенсионное удостоверение, а также книжечка «Ветеран труда» (я ахнул), сулящая мне небывалые блага на закате жизни. Появилась и пенсия – поскольку я продолжаю много работать, я не ощутил её в

плане серьёзного улучшения моего жизненного уровня. Про новые привилегии я тоже постоянно забываю – что можно, например, теперь бесплатно ходить в музей. Я хотел рассказать совсем про другое.

Пятьдесят лет назад мне навсегда снесло крышу новой, небывалой музыкой. Этой самой музыкой я занимался всю жизнь. Мне и моим товарищам страшно повезло – мы не просто застали день, когда рок-н-ролл взорвал планету, – мы ещё оказались в юном, самом уязвимом, для последствий этого взрыва возрасте. И люди, творившие чудо на электрогитарах, и миллионы, внимавшие им, раскрыв рты, – все они были невероятно, оскорбительно молоды и прекрасны. Эти тонкие длинноволосые парни в клешах, со сверкающими гитарами в руках были не артистами эстрады – они были про-роками. Как их любили, как им верили! Знаете, почему? Потому что они не врали. Вообще. Они видели, что с миром что-то не так, и хотели его изменить. И знаете – им это удалось. Отчасти. Наверно, сегодня это трудно объяснить. А тогда – сравните обращение американского президента к народу, речь генерального секретаря ЦК КПСС на съезде партии и третий «Лед Зеппелин». Что честнее?

Я смотрю старинную чёрно-белую съёмку. 1965 год, совсем молоденький улыбающийся Мик Джаггер. Журналист спрашивает его: сколько проживут «Роллинг Стоунз»? «Два года», – отвечает он, не задумываясь. Если бы ему сказали тогда, что он будет так же носиться по сцене спустя пятьде-

сят лет, он бы, наверно, расхохотался. Во всяком случае нам, глядя оттуда, такая картина представилась бы очень смешной. Рок-н-ролл – музыка молодых! Не верь никому старше тридцати! Лав, пипл!

Да, нам повезло. Мы застали это чудо длиной в одно поколение. Нет – длиной в одну человеческую жизнь. Это была и наша жизнь тоже. Посмотрите, сколько ребят в возрасте слегка за семьдесят плывут на этой старинной, сказочно красивой посудине с пацификом на флаге! Они по-прежнему выходят на сцену, и зал взрывается, и никому сегодня это не кажется странным. Пол, Мик, Кейт, Эрик, ещё десятка полтора великих – последние столпы эпохи. Недавно в каком-то интервью кто-то из «Дип Пёрпл» – кажется, Гиллан, сказал «Меня иногда попрекают тем, что я себя как-то не так веду. Скажите, с кого мне брать пример, если всё, чем мы занимаемся, с нас началось и на нас закончится?»

Ребята, это была достойнейшая эпоха. Она уходит с честью. Интересно, а у Джаггера есть пенсия? А какая?

Снег

—Ты что, правда, никогда в жизни не видела снега? Сколько тебе лет?

— Девятнадцать. И думаю, что и не увижу. Я не собираюсь в вашу Сибирь. Я круглый год в шортах. Ну ладно, расскажи — он какой?

— Снег? Он... ну, вообще он сделан из замёрзшей воды.

— Как лёд в баре?

— Да нет... Смотри: лёд в стакане твёрдый и прозрачный. Это вода, которая замерзает на земле, этот лёд покрывает собой реки, озера... А снег — вода, которая замерзла на небе, на облаках, и в день прихода зимы она опускается оттуда медленно, легко и беззвучно, как лебяжий пух, и вот этим пухом укрыта вся земля, а ты в эту ночь особенно глубоко спишь, и тебе обязательно снится добрый и хороший сон, и утром открываешь глаза, и ещё не выглянул в окно, а уже знаешь — снег. В окне другой свет.

— Он у вас светится, что ли?

— Да нет, не светится, конечно, но он такой невероятно белый, что собирает и отражает свет со всего пространства, и мир делается светлей и чище.

— То есть в барах всего мира из воды получается один и тот же лёд, а у вас в небесах из той же воды что-то совсем другое? Знаешь, я однажды в жизни летела в самолете, и там

вокруг были облака, а в стакане принесли тот же долбаный лёд. Ты не гонишь?

– Да послушай! Когда ты видишь этот воздушный, нетоптанный, невозможно белый ковёр, с тобой случается радость, и ты улыбаешься. А дети бегут на улицу играть в снежки.

– В снежки? Snowies?

– Нет, это скорее будет snowballs. В общем, дети лепят из снега такие мячики...

– Лепят? Он что, липкий, как глина? Ты только что говорил, что он лёгкий и пушистый!

– Ну да, он... в общем, пока он лежит, он лёгкий и пушистый, но если взять его в руки и сжать, он превратится в довольно плотный снежный мячик, и им можно кидаться!

– Кидаться? Зачем?

– Для радости!

– А летом вы, видимо, просто водой брызгаетесь?

– Нет, почему?

– Ну, если вы испытываете радость от кидания друг в друга мёрзлой водой в зимнее время...

– Да ты просто не понимаешь, как это весело! А ещё можно слепить снежную бабу!

– Бабу? Ну-ка, ну-ка...

– Сначала ты кладёшь снежок на снег и начинаешь его осторожно катить. И он обрастает снегом и становится больше, больше, пока не превращается в огромный шар. Потом делаешь второй шар, поменьше, и ставишь его на первый, а

сверху – третий, самый маленький, – это голова. На голову – ведро, вместо глаз – угольки, вместо носа – морковка! Вот и баба!

– Значит, три шара, один на другом, ведро на голове и морковь, изображающая нос? Хорошие у вас бабы! Все такие? И не одна не подала в суд?

– Да прекрати! Это же смешная вещь! А знаешь, сколько оттенков снега видит эскимос? Сто! Сто оттенков белого! Я не эскимос, но тоже вижу, как снег меняет свой цвет – под ярким солнцем он голубой, на закате – розовый и даже фиолетовый, к концу зимы становится серым, а в нашем городе бывает ещё желтым от химического комбината! А знаешь, что когда поднимается мороз (хотя правильнее было бы сказать «мороз падает» – ведь температура опускается!), снежные поля сверкают россыпями хрусталя под солнцем, и даже в воздухе рассеяна еле заметная бриллиантовая пыль? А снег в такую погоду скрипит под ногами, как новое кожаное седло?

– Послушай, ты явно что-то куришь. Я бы напросилась попробовать, но это что-то слишком забористое. Я думала, мы разговариваем серьезно. Спасибо за мохито. Девочки, побежали к морю!

Соблазн

– Тонкая кость. У неё удивительно тонкие запястья. И щиколотки. Хотя ничего немощного в этом нет. Порода. Причём запястья тонкие, а кисть руки нормальная, пальцы длинные. Мизинец чуть-чуть искривлен внутрь – грузины утверждают, что это признак голубых кровей. Господи, сегодня даже «голубая кровь» звучит как-то двусмысленно. А вообще, видно, что в ней много намешано – там даже не Грузия, там, скорее, какой-то Восток. И главное, этот Восток настолько глубоко спрятан, что смотришь и не можешь понять, в чём он именно проглядывает, – просто чувствуется. Она не красит ногти – может, каким-то бесцветным лаком, но они всегда потрясающе ухожены. Женщинам с обкусанными ногтями и остатками маникюра я бы сразу отрубал палец. Но самое удивительное – шея.

– Шея?

– Знаешь, иногда слушаю мужиков и поражаюсь – о чём они вообще? Талия, жопа, сиськи... Идиоты. Смотрят и не видят. А между тем если у женщины короткая шея, все эти погрешности не спасут. Шея и посадка головы. Осанка. Грудь у неё, кстати, небольшая. Интересно – она никогда не носит ничего обтягивающего, всё свободно болтается, и как раз из-за этого видно, какая она там внутри тонкая и замечательно сложенная. Между картиной и рамой должен быть зазор,

свободное пространство. Называется паспарту.

– Кстати, о картинах. Краситься любит?

– Она вообще, по-моему, очень мало использует всяких красителей. Полное ощущение, что на лице ничего нет. Хотя, скорее всего, просто незаметно. Тоже искусство. А волосы у неё темные, жёсткие и очень густые – всё время хочется запустить в них руку и ухватить сзади за холку. Грива такая. Давай возьмём ещё два по сто.

– А она длинная?

– Смотришь, как идёт, – кажется длинной. А подходит – нет, скорее, невысокая, чуть ниже меня. Пропорции. Размер ноги – тридцать шесть.

– О! Ты уже дарил ей туфли?

– Нет пока. Я просто сразу вижу женский размер. И, между прочим, ни разу не ошибался. А ещё, когда я был совсем молодой, я мог посмотреть на девушку и сказать, в каком месяце она родилась. И тоже не ошибался. Причём все эти знаки зодиака, гороскопы меня совершенно не интересовали – я их и не знал. Просто смотришь – и сразу видно – середина мая.

– Так она майская?

– Нет, она как раз зимняя. Конец декабря. И она не из Москвы, это точно. Хотя никакого акцента – даже московского. Знаешь, интересно – я заметил: уральский акцент, например, всегда отлично слышен, а дальше – Новосибирск, Красноярск – абсолютно чистая речь. Неужели это из-за

ссылных? Вот, может, она откуда-то оттуда. А самая красивая речь, кстати, – во Пскове. Ты слышал, как говорят во Пскове?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.